Притча и авторское назидание имели целью превратить читателя из человека, любящего «скользнуть по всему недумающими глазами» [1, т. 5, с. 353], в том числе и по страницам книги, в «субъекта этического выбора» [8, стлб. 21]. Читателю необходимо было самостоятельно сопоставить свое поведение и с поведением героев притчи, и с поведением «патриотов», и с поведением «приобретателя» Чичикова, дав в итоге собственный ответ о причинах и мотивах данного отношения к изображенным характерам и ситуациям. Причем автор не старается принудить читателей к ответу. Дело в самом читательском желании узнать правду о себе, в потребности найти ключ к собственной душе.

«Насыщение», увеличивающее человеческую «плоть», «приобретение», увеличивающее накапливаемые «патриотами» «капитальцы», «философические вопросы» Кифы Мокиевича, увеличивающие бессмыслицу и пустоту жизни, лишенной нравственного содержания и подлинной человеческой мудрости,— это всего лишь несколько элементов из того образно-символического ряда, который выражает этический пафос автора, озабоченного и непредсказуемым расширением сферы мертвого в поэме, возможным включением в эту сферу значительной части своей аудитории. Примечательно, что «патриоты», чьи обвинения предугадывает автор, сравниваются с пауками: так подчеркивается их уже совершившееся отпадение от человеческого рода, душевное омертвение. Но подобная участь, по мысли автора, грозит каждому читателю, не умеющему и не желающему оглянуться на себя, забывшему о нравственных основах, которые внутренне обязательны для любого из живущих. В необходимости указания на эти основы и заключалась существенная причина обращения автора к жанру притчи, актуализация в поэме ее жанровой функции и жанрового содержания.

Автор не дает обстоятельного разъяснения притчи о Кифе Мокиевиче и Мокии Кифовиче, он лишь выводит из нее нужную ему дидактическую идею. И это знаменательно! Ему важно, чтобы содержание притчи и связанного с нею вывода было не просто рационально, одним рассудком понято читателями, но прочувствовано и пережито. Другими словами, необходимы не одни только усилия «ума», но прежде всего и главным образом внутренние усилия, усилия самой души, расширяющие диапазон чувств и переживаний.

Как не раз убеждает повествование в «Мертвых душах», сам по себе «ум» не обещает возрождения человеческого в человеке. И Плюшкин не обделен умом («...в глазах был виден ум» [1, т. 5, с. 167],— замечает о нем автор), но обмелели чувства — и превратился герой в «изношенную развалину» [1, т. 5, с. 169]. Умен и Чичиков («...оказался в нем большой ум... со стороны практической» [1, т. 5, с. 232]), однако отнюдь не с умом связывает автор надежду на возможное возрождение нынешнего «приобретателя». Ведь можно рассуждать, как это делает Чичиков, о «добродетели» — и «даже со слезами на глазах» [1, т. 5, с. 25], но оставаться внутренне глухим к идее морального греха. Признаком человечности служит для автора глубина чувств и переживаний; отсюда и проистекает сокровенность авторского призыва к читателям, который должен задеть и затронуть самое «ядро» человеческой личности, призыва, облаченного в форму эмоционального укора.

Печаль автора вызывает все, что необратимо, как время: грядущий призрак старости, утрата свежих юношеских впечатлений, самой юношеской восприимчивости к разнообразным явлениям бытия, неизбежное душевное оскудение и нравственное измельчание забывшего о требованиях души человека. Возродить дурного человека, нравственно потрясти читателей — задача не менее трудная, чем остановить время, однако художественно осуществимая.

Именно об этом свидетельствует авторская этическая позиция. Сюжетная функция притчи о «философе» и его сыне в том и заключается, что-